

Литературная учеба

Ж у р н а л
для начинающих
писателей
под редакцией
М. ГОРЬКОГО

9

821(05) 7023.
164.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Ленинград 1933 Москва

ЧЕХОВСКИЙ РАССКАЗ И ГАЗЕТНАЯ ХРОНИКА

Чехов любил газету. Об этом неоднократно упоминают его современники. Так, Елпатьевский рассказывает о кабинете Чехова с раскиданными повсюду газетами, которых он перечитывал «великое множество». Другой современник Чехова отмечает необыкновенную страсть его выписывать всевозможные газеты, которые по прочтении он складывал стопками около стола.

Более близкое знакомство с газетой того времени убеждает в том, что Чехов находил в ней нечто такое, что оплодотворяло его творчество. В частности Чехов уделял большое внимание и использовал в своем творчестве отдел газетной хроники.

В весьма распространенных изданиях чеховского времени, типичным образцом которых была «Петербургская газета», газетная хроника имела очень специфический характер. В погоне за тысячных пиражком «Петербургская газета» в изобилии культивировала всякого рода сообщения с такими соблазнительными названиями, как «Вести и слухи», «По России», «Разные известия» и т. д., ибо они являлись едва ли не самой крупной приманкой для основного контингента читателей этой газеты. Для сытого обывателя хроника была излюбленным чтением, служа ему главной, а может быть, и единственной духовной пищей и источником удовлетворения эстетических запросов.

Здесь на первом месте стояла, разумеется, хроника уголовная. Обыватель любил пощекотать свои нервы сообщениями о том, как однажды был обнаружен плывущий на льдине мешок, в котором оказалось разрубленное на куски человеческое тело; или, как князь такой-то оказался крупным аферистом, похитившим миллионное приданое своей жены; как в таком-то суде слушалось дело такой-то особы по обвинению ее в продаже своей несовершеннолетней дочери и т. д. и т. п.

Такого рода хроника имела налицо все качества бульварной литературы: детали выписываются с расчетом заинтриговать читателя; широко используется «прием тайны» (слушание дела «при закрытых дверях», исчезновение преступника, нераскрытое злодеяние и пр.).

Зверские убийства, самоубийства через самоожжение, погребения заживо, загадочные преступления, главное же — всякого рода любовно-уголовные драмы, — таков «крут тем этого рода хроники. В одном из своих рассказов («Два газетчика») Чехов пародировал эту погоню второразрядной прессы за низкопробной сенсацией:

Я знаю такое убийство, что человека повесили, зарезали, керосином облили и сожгли, все это сразу, и то я молчу... Все это уже было и ничего тут нет необыкновенного, — говорит разочарованный корреспондент газеты «Начихать вам на головы», собираясь повеситься. — Вот если бы случилось что-нибудь особенное, этакое, знаешь, зашибательное, что-нибудь мерзейшее, распреподное, такое, чтобы черти с перепугу передохли, ну тогда ожил бы я! Прошла бы земля сквозь хвост кометы, что ли, Бисмарк бы в магометанскую веру перешел или турки Калуту приступом взяли... Одним словом, что-нибудь зажигательное, отчаянное, — ах, как бы я зажил тогда!

Но наряду с этим типом хроники, пожалуй, не меньшее распространение имела хроника другого типа — именно юмористическая.

Здесь задача хроникера сводилась не к регистрации оглушительных событий, и даже вообще каких-либо «событий» в строгом смысле этого слова, а к отысканию курьезов, несообразностей, которые давали читателю «эстетическую» пищу уже иного порядка.

Рассматриваемый здесь период (80-е годы) отмечен широким развитием юмористической прессы, которая в эти годы реакции и общего снижения тонуса общественной жизни получает очень определенный характер. Она должна отвлечь читателя от общественных вопросов. Объектом смеха становится исключительно узкий круг бытовых отношений без всякой попытки вскрыть их социальную подоснову. Сварливые тещи, провинциальные барышни, расточительные или скупые жены, несообразительные мужья, коверкающие русский язык евреи и т. д. и т. д. — вот герои юморесок «Развлечений», «Будильников», «Скорпионов», а также фельетонов и юмористических отделов газет. И если даже наиболее солидные юмористические журналы (например, «Осколки») давали порой юмор весьма сомнительного качества, то еще более дешевый сорт смеха представляли невзыскательному читателю периодические издания типа «Петербургской газеты». В отделе «Глубокие мысли» можно встретить такие, например, перлы остроумия: «И не отходя от ворот, можно поправить у пальто отворот». Или: «Можно быть в шляпе *смятой* и без *шляты*» и т. п. Но оквозь этот, казалось бы, невинный вздор очень явно и определенно проступало настоящее лицо газеты. Махровым цветом расцветал в ней антисемитизм: наиболее излюбленным жанром были еврейские анекдоты, вся соль которых заключалась в совершенно фантастическом коверкании русского языка.

Сравнивая всю эту низкопробную продукцию с тем материалом, который давала, откликаясь на те же запросы, хроника, нужно сделать определенный вывод в пользу последней.

Хроникер шел от факта, регистрировал то, что давала ему сама жизнь, а жизнь того времени в недрах беспроблемного мещанского бытия давала такие подлинные перлы курьезов и нелепостей, перед которыми безнадежно бледнели все измышления профессиональных поставщиков газетного юмора. Вот примеры:

Казань. 13 ноября 1884 г. в кустах на куртине найдены были человеческие кости. Помощник пристава 6-й части дал разрешение предать их земле. В метрических книгах кладбищенской церкви написан такой реферат об этих костях... Под рубрикой: имя, отчество и фамилия умершего — человеческие кости на куртине неизвестного зания человека, по-

видимому, православного и неизвестного пола. Под рубрикой: *отчего умер?* — найден в кустах. Подписал священник К. и диакон О.

(«Петербургская газета», 3 февр. 1895 г.).

От 5 янв. 1885 г. «Петербургская газета» рассказывает о происшедшем в Митаве самоубийстве актера, окончившемся комическим эпизодом:

По городу распространился слух, что актер не лишил себя жизни, и застрелил жившего в одном доме с ним портного. Портной, человек американского пошиба, счел нужным опровергнуть этот слух в газетах в следующих выражениях: «В опровержение ложных слухов о моей внезапной смерти заявляю, что никакого покушения на мою жизнь не было. Вместе с тем рекомендую свою работу и прошу благосклонных заказов».

Но все же в газетную хронику просачивались и заметки, как-то отражавшие мрачную и жестокую обстановку реакции, в которой задыхалась страна.

Самоуправство и взяточничество, злоупотребление властью и произвол, полное неуважение к человеческой личности, самодурство и невежество, преступления на почве суеверия и отупения, одурение от водки и праздности и т. д. и т. д. — весь этот калейдоскоп фактов пробивался так или иначе на страницы газет, которые однако не пытались их обобщать, регистрируя как единичные и случайные. Но в совокупности они слагались в жуткую картину, характеризовавшую российскую действительность того времени.

Мы находим в хронике такого рода картины:

Люблинский уезд. В Ярославской губ., Люблинского уезда, есть село Коза. В окрестностях оно развивалось сильное пьянство, в базарные же дни... в означенном селе до того бывают разного рода беспорядки, что порядочному и прилично одетому человеку совершенно невозможно пройти, чтобы не быть обруганному площадной бранью и не натолкнуться на разные безобразные сцены; все местные власти не принимают никаких мер для обуздания до нельзя спившегося народа, и все проходит безнаказанно. Бывают случаи поджога и грабежа; вообще народ слабее, беднее и делается невежественным. Много бы нужно поговорить про вопиющие порядки этого края и т. д. («Петербургская газета», 17 марта 1882 г.).

Драки и скандалы у нас стали принимать в последнее время какой-то поистине эпидемический характер. То один землевладелец разгонит весь клуб, то другой явится туда в компании цыган и устраивает спектакли. Это в общественном месте; что же касается улиц, кофеен и частных домов, то здесь мордобитий и не сосчитать. Дерутся все местные «сливки»... Если наш город не составляет исключения, то действительно хороша же русская провинция! На ряду с дракой процветают пьянство и картежничество. Все остальное сводится к нулю» («Петербургская газета», 3 янв. 1885 г.).

Уже простой регистрацией однородных повторяющихся фактов хроника произвольно давала «обобщения». Вот заметки по «свиному вопросу», появляющиеся в разных породах, вне какой-либо зависимости одна от другой:

Тифлис. В официальном отделе газеты «Кавказ» напечатано следующее распоряжение тифлисского полицеймейстера: «В последнее время по улицам города появилось много бродячих свиней. Имея в виду, что странствование по городу подобных животных воспрещается, тифлиссский полицеймейстер считает нужным предупредить граждан Тифлиса, что если и за сим свиньи будут бродить по городу, то таковые чинами полиции будут задерживаться и отправляться на убой в тифлиссский тюремный замок для обращения в пищу арестантам» («Петербургская газета», 14 окт. 1884 г.).

18 окт. того же года из Нежина сообщают об одичавших свиньях, которые массами бродят по улицам и которых ловят арканами.

Очень легко может случиться, — предупреждает обращение полицеймейстера, — что вместо одичавших свиней будут по ошибке пойманы арканами и уничтожены их (обывателей) собственные свиньи, бродящие по городу, что и возможно, так как домашние свиньи господ обывателей ничем не отличаются от предположенных к уничтожению одичавших свиней, почему и полицейские чины вверенной мне полиции за означенную ошибку привлекаемы к ответственности быть не могут» («Петербургская газета», 18 окт. 1884 г.).

И, наконец, аналогичное сообщение от 5 ноября того же года находим из г. Пензы:

Нигде нет столько свиней, и нигде свиньи не пользуются такой свободой, как в Пензе. Несмотря на предупреждения, количество свиней все увеличивается, и на днях две огромные свиньи появились в самом центре города, на Соборной площади. Некоторые обыватели ждут не дождутся... когда настанет конец этому свиному царству. («Петербургская газета», 6 ноября 1884 г.).

Необъятная Россия с бродящими по ней одичавшими свиньями — разве это не символ, не обобщение, данное самой объективной действительностью?

И не узнаем ли мы здесь, в этих, ни на что не претендующих, кроме добросовестной информации и лишних строчек заметках, — того, что составляет главное тематическое ядро произведений Чехова?

Одна из его центральных тем — тема беспросветности русской (принципиальной, главным образом) действительности. Но в творчестве художника эта тема становится материалом для художественного обобщения. Этот процесс мы и проследим в дальнейшем.

II

Чехов прошел сложный творческий путь. Его первые литературные опыты неразрывно связали его с журналами, в которых он печатался. с «Будильником», «Развлечением», «Осколками» и др. Но Чехов очень скоро перерастает вскормившие его журналы, превратив житейские пустишки, над которыми беззубо смеялись Лейкины и К°, в объект беспощадной социальной сатиры.

В 80-е годы, в обстановке торжествующей реакции, когда с такой резкостью все больше и больше обнаруживались рецидивы крепостничества, сведшие нанет и без того жалкие реформы 60-х годов, — мелкобуржуазная интеллигенция с особой остротой ощущала свою беспомощ-

ность. Она не видела никакой социальной силы, за которой могла бы пойти. Русская буржуазия была слишком слаба, новой растущей силы — пролетариата — эта интеллигенция видеть не могла, от идеалов народничества она отказалась начисто.

Отсюда эти ясно звучащие порой ноты тоски у Чехова, достигающие своей наибольшей полноты в конце 80-х и начале 90-х годов.

Юмор Чехова имел в своей основе отрицание, осуждение определенных сторон действительности. Но пафос отрицания у Чехова совершенно неотделим от утверждения положительных принципов его мировоззрения. Утверждение принципов новой буржуазной культуры необходимо предполагало для Чехова как идеолога юного класса критику всего, что, с его точки зрения, стояло на пути культурного перерождения страны.

Но мелкобуржуазная ограниченность мешала Чехову отчетливо осознать причины, породившие крайнюю отсталость России. Ни сложных социально-экономических факторов, определивших специфический — «азиатский» — характер русского капитализма, ни перспектив его дальнейшего развития он не мог себе уяснить. Чехов направляет свой удар против тех сторон социальной жизни, с которыми он лицом к лицу сталкивается в своей непосредственной жизненной практике: против неуважения к человеку, бесправия, против невежества и косности, носителями которых являлось российское мещанство. Задачи культурничества выделяются им в качестве центральной линии, по которой должно пойти переустройство действительности.

Почвой, на которой произрастали невежество, дикость и бескультурие, был социальный строй старой России, насквозь пропитанный остатками крепостничества, душивший всякие проблески передовой революционной мысли и деятельности. Но разоблачения Чехова идут не вглубь, не по линии вскрытия социальных корней явления. Он ограничивается лишь тем, что резко обрушивается против одного из оплотов крепостнической реакции — против мещанства.

Стремление показать подлинное лицо мещанства, обнажить самые глубинные пласты его — таков один из основных идеологических мотивов творчества Чехова. Самым непримиримым врагом его становится обывщина.

Его задача как художника — разоблачить обывденное и привычное, ибо в нем-то и таится самое страшное зло: в силу своей обычности оно перестает поражать, притупляет внимание. Чехов записывает в записной книжке:

Когда живешь дома, в покое, то жизнь кажется обыкновенной, но едва вышел на улицу и стал наблюдать, расспрашивать, например, женщин, то жизнь ужасна. Окрестности Патриарших прудов на вид тихи и мирны, но на самом деле жизнь в них — ад.

В воспоминаниях о Чехове Горький говорит:

Никто не понимал так ясно и тонко, как Антон Чехов, трагизм мелочной жизни, никто до него не умел так беспощадно правдиво нарисовать позорную и тоскливую картину жизни в тусклом хаосе мещанской обывденщины.

Чехов упорно борется за сутубую простоту и обывденность сюжета; скрыть в простом страшное — вот цель художника:

М. пишет трагедию из жизни Сократа, — говорит Чехов в одном письме. — Эти упрямые мужики всегда хватаются за великое, потому что не умеют творить малого. Про Сократа легче писать, чем про барышню или кухарку (письмо А. С. Суворину от 2 февр. 1894 г.).

Куприн в своих воспоминаниях приводит слова Чехова:

Зачем это писать, что кто-то сел на подводную лодку и поехал к северному полюсу искать какого-то примирения с людьми, а в это время его возлюбленная с драматическим воплем бросается с колокольни. Все это неправда, и в действительной жизни этого никогда не бывает. Надо писать просто: о том, как Петр Семенович женился на Марье Ивановне, вот и все.

И в самом деле, о чем пишет Чехов в продолжение 24 лет своей литературной деятельности? «Скука жизни», «Скучная история», «От чего делать», «Сонная одурь», «Житейская мелочь», «Житейские невзгоды», «Житейский водевиль», «Пустой случай», «Обыватели», «Господа обыватели», «Одни из многих», «В бане», «Мелюзга», «В цирюльне», «Дома» и т. д.

Чехов тщательно отбирает все, что было наиболее серого, однотонного, будничного. Вот заметки и наблюдения, занесенные им в записную книжку:

- Матвея по ночам кусали клопы.
- Рано утром ели крошку.
- Вместо простынь грязные скатерти.
- Женятся потому, что обоим деваться некуда.
- Грязный трактир у станции. И в каждом таком трактире непременно найдешь соленую белугу с хреном. Сколько же в России содится белуги!
- В три часа ночи его будят: нужно идти на должность на вокзал; и так каждый день уже 14 лет.

Нужно ли говорить, что газетная хроника должна была быть для Чехова исключительно ценным документом. Своей регистрацией однородных, из месяца в месяц повторяющихся фактов и происшествий она помогала художнику в его обобщениях, расширяя поле его непосредственных наблюдений над окружающей действительностью.

Она должна была, наконец, стать и прямым источником тем и сюжетов писателя, что вполне подтверждается фактами: только за 4 года (1882—1885) хроника дает более 20 заметок, которые так или иначе использованы Чеховым в рассказах.

Очень важным моментом, подтверждающим эти наблюдения, является обнаруживающаяся здесь связь между временем появления хроникерской заметки и созданием на ее основе того или иного рассказа. Обычно это промежуток не менее одного и не более двух лет. Как правило, период вынашивания сюжета равен одному-двум годам.

По поводу этой замедленности в работе сам Чехов дает очень ценные указания в одном из своих писем:

Я умею писать только по воспоминаниям, — пишет он Батюшкову 9 1897 г., — я никогда не писал непосредственно с натуры. Мне нужно

чтобы память моя процедила сюжет и чтобы на ней, как на фильтре, осталось только то, что важно или типично (Письма, т. V, курсив мой М. Е.).

Бунин вспоминает: к работе «он приступал всегда уже после того, как мысль и образы его будущего произведения становились ему совершенно ясны» (Сб. «О Чехове», 1910 г.).

Не в этом ли секрет той быстроты и легкости, с которой Чехов оформлял свои рассказы (например, «Егерь», написанный в купальне, и т. д.)? Если сюжет вынашивался в течение очень продолжительного времени, вполне созрел в голове писателя, то его переложение на бумагу являлось, очевидно, делом нескольких часов.

III

На основании собранного материала можно установить две линии, по которым шло использование Чеховым материала хроник: 1) хроника дает Чехову основное сюжетное ядро рассказа, и 2) хроника стимулирует создание образа. Правда, такое деление в значительной мере условно. Устанавливая его, мы исходили из того, что акцентируется писателем — тип или событийная линия рассказа.

Разумеется, мы не утверждаем, что в создании своих образов или сюжетов Чехов шел только от хроники. Объективным материалом ему служит все многообразие наблюдаемой им жизни. Но то идейное содержание, которое должен был воплотить Чехов, могло получить свое окончательное оформление и полную художественную материализацию через случайный внешний факт. Таким фактом для целого ряда его рассказов и была газетная хроника. Какое-нибудь одно событие, рассказанное в ней, или только одна намеченная деталь вдруг завершали длительный внутренний процесс писательской работы и помогали Чехову художественно организовать вынашиваемую идею.

Среди различных сообщений хроники весьма часто можно встретить заметки такого рода:

Казань. Купчиха Александра Павловна Попова заявила полиции, что она получила по городской почте анонимное письмо, автор которого требует от нее 1200 рублей, которые должны быть принесены к 8 часам вечера с горничной на Черное озеро и положены на первую скамейку от Николаевской площади. В случае неисполнения требования неизвестный автор письма грозил Поповой, что ее постигнет не одна, а несколько пуль. В виду этого вечером 26 сент. пристав послал с горничной Поповой двух безбородых полицейских, одетых женщинами.

Дальше рассказывается о поимке шантажиста («Петербургская газета», 5 окт. 1885 г.).

В той же газете от 26 янв. 1883 г. читаем сообщение из Елизаветграда:

На-днях купцу Гунькину было подброшено письмо, в котором требовалось от Гунькина, чтобы он положил в указанное место довольно значительную сумму денег, с угрозой в противном случае зарезать Гунькина с семейством или же поджечь его дом и магазин. Гунькин заявил о найденном письме полиции...

Задержан был местный обыватель Смирнов, человек зрелых лет. Он содержит мелочную лавочку и едва знает грамоту.

Из Орла сообщают от 17 июня 1884 г.:

Местный «Вестник» сообщает следующий случай мелкого шантажа, предпринятого на-днях воспитанником одного из местных средних учебных заведений. Молодой человек этот, нуждаясь в деньгах для осуществления какой-то романтической цели, написал купцу З. П. Пастухову письмо, в котором требовал в указанное место положить 50 рублей, угрожая в противном случае личной безопасности г. Пастухова. Последний с анонимным письмом познакомил полицию, и, с общего согласия, в указанное место положили деньги, а вблизи него поставили незаметный для постороннего караул.

Дальше опять идет рассказ о поимке преступника. В рассказе «Мечь» (1886) некий «дюжинный обыватель» Турманов, зная, что его жена должна положить в вазу в городском саду записку своему возлюбленному, — чтобы отомстить ей и сопернику, пишет письмо купцу Дулинову:

Милостивый государи! Если к 6 часам вечера сиводня 12 Сентября в мраморную вазу, что находится в городском саду налево от виноградной беседки не будет положено вами двести рублей, то вы будете убиты, а ваша галантейная лавка взлетит на воздух.

Но месть Турманова не удалась. Купец Дулинов, вместо того чтобы отнести полиции, кладет в вазу требуемую сумму, каковая и попадает в руки соперника.

Из хроники взят таким образом основной фабульный мотив: получение купцом анонимного письма с требованием денег и угрозой. Это ядро густо обрастает у Чехова бытовым плетью: именины, проигрыш Турманова как причина его дурного настроения, породившего идею мести, оскорбительные прозвища, подслушанные им («пузан», «индюк», «Собакевич») и т. д. Но в построении рассказа, именно в развязке, Чехов газетному факту придает неожиданный оборот: в то время как все хроникерские заметки кончаются поимкой шантажиста, у Чехова вся острота интриги заключается в том, что купец кладет деньги в вазу и тем разрушает замысел героя.

Чтобы вполне уяснить себе тенденцию этого изменения Чеховым газетного материала, возьмем другую заметку:

Казань. На-днях в анатомическом театре университета происходило, по словам «Здоровья», вскрытие трупа оригинального самоубийцы, отравившегося бензином. Отравление, говорят, произошло следующим образом: самоубийца, молодой человек, очень любил «зашибать». После одной попойки, привезенный домой приятелями в бесчувственном состоянии, он был уложен в отдельной комнате и заперт на ключ. Проснувшись, он вздумал опохмелиться и начал из-под замка упрашивать свою мать дать ему водки. Мать знала, что стоит дать ему хоть немножко, как начнется такое столпотворение, что хоть «святых выноси», а потому и не «похмелит» своего буйного сына. Последний начал шарить по всем углам, не найдется ли где-нибудь хмельного. В одном шкапу стояла склянка бензины. Пьяница схватил ее и осушил до дна. Узнали об отравлении, к несчастью, слишком поздно, и несчастный умер («Петербургская газета», 2 февр. 1885 г.).

В рассказе «Неосторожность» (1887) это сообщение использовано так: некто Петр Петрович Стрижин, человек трезвой жизни, по возвращении с крестин, где он выпил несколько рюмок вина, ищет, чем бы опохмелиться. Не желая будить свояченицу, он в темноте идет к шкапу, где, «нащупав в правом углу бутылку», думая, что это водка, выпивает рюмку, но в бутылке оказывается керосин. Уверенный в отравлении, герой идет искать доктора, но, не найдя его, готовится к смерти. Однако все *кончается благополучно*, только свояченица в горе от плохого качества керосина.

Как и в первом случае, костяк, взятый из хроники, обильно обрастает бытом: характеристика героя, рассказ о крестинах, образ Дашеньки-сваяченицы и т. д. И, так же как в рассказе «Месье», Чехов всему событию хроники придает иную развязку: герой не умирает, а благополучно выздоравливает.

Проследим движение творческой мысли писателя.

Над заметками, взятыми из хроники, Чехов проделывает очень сложную операцию. Выше уже было показано особое тяготение Чехова к опрощению сюжета.

События хроники, давшие ему материал для рассказа, выделяются из ряда обыденных: уголовный характер первого и трагический второго и явился стимулом для занесения в хронику. Чехов, беря это необычное, исключительное событие в основной его ситуации (получение анонимного письма, отравление при попытке опохмелиться), *разрушает* однако его необычность, делает ее *мнимой* и самое событие превращает в сугубо обыденное и бытовое. Он облакает плотью будничности все, что из нее сколько-нибудь выделяется. Случай с анонимным письмом, лишенный своей уголовной основы, становится моментом будничного ежедневного быта; трагическое событие — отравление бензином — в рассказе также лишается своего трагизма и переключается в плоскость узко-житейских отношений — вопросы хозяйства, взаимоотношения Дашеньки и Стрижина и т. д. (И не случайно, конечно, Чехов заменяет бензин керосином).

Но, совершив это превращение, Чехов хочет убедить читателя, что именно теперь, когда данные события потеряли всякую *видимость* необычайного, когда они лишились своего уголовного и внешне-трагического характера, когда они стали выражением самых *обыденных* человеческих отношений, — теперь, и только теперь, в них вскрылось глубоко трагическое, страшное. *Страшны не катастрофы и убийства, а повседневность*, засасывающие мелочи повседневного мещанского существования тупой, косной, темной обывательщины. Именно такое значение получает концовка последнего рассказа, когда в ответ на соображения героя о правильной и регулярной жизни, опасшей его от смерти, Дашенька говорит: «Нет, это значит керосин плохой! Значит лавочник мне дал не лучшего, а того, что полторы копейки фунт. Страдалица я, несчастная, изверги-мучители, чтоб вам на том свете так жилось, ироды оканные... И пошла».

Чехов не прибегает ни к каким традиционным приемам обличения этого мира обывательщины. Он просто живописует его, проникая в самую толщу обывательского бытия. Отсюда эта крайняя степень насыщенности бытом, чрезмерная бытовая конкретизация, но достигаемая не путем

пространных описаний, а посредством отдельных резких мазков: один из характерных приемов Чехова — постоянное вынесение на передний план самых, казалось бы, незначительных деталей (характеристика героя: «тот самый, у которого в прошлом году украли новые калоши» или: «дюжинный обыватель, имеющий капитал, молодую жену и солидную плешь»). Но именно это нарочитое выделение незначительного, постоянное нагнетание все новых и новых мелочей и способствуют крайней сгущенности изображения, максимальной осязаемости в передаче того, на чем хочет сделать упор художник: ужасающей беспросветности и пустоты мирного обывательского бытия, где для выделения человеческой индивидуальности нельзя найти никаких иных признаков, кроме солидной плечи или украшенных в прошлом году калов. Незаметно, не называя открыто читателю своего отношения к изображаемому, Чехов, однако, с помощью этого приема ошеломляет читателя непрерывно развертывающейся картиной удручающей пошлости. А именно это и нужно читателю: заставить ужасаться тем, мимо чего ежедневно проходят десятки и сотни тысяч людей, не задерживаясь и не задумываясь.

Стремление *трагизировать* обыденное с логической закономерностью вытекает из всего мировоззрения писателя и является специфическим выражением его борьбы с «обыденщиной» как величайшим, с точки зрения Чехова и его социальной группы, социальным злом.

Проследим дальше эти тенденции творческого процесса у Чехова.

«Петербургские ведомости» 5 февр. 1883 г. помещают такую заметку:

Елец. В местном окружном суде 16 янв. происходила крайне оригинальная аукционная продажа. По частному иску с мещанина В. М. Бякина в 2800 руб. продавались 22 тесовых гроба, принадлежащих должнику. И на этот товар нашлись покупатели: гробы были проданы за 20 рублей сестре должника.

Хроника, очевидно, наталкивает Чехова на сюжет рассказа «Страшная ночь» (1884), где это сочетание мотивов гробов и аукциона использовано так: на спиритическом сеансе герой узнает от Спинозы, что «жизнь его близится к закату». По возвращении домой, поздно ночью, он находит у себя (так же как ряд друзей) гроб. Еле живые от страха, гробы вскрывают, наконец, один из гробов и находят там письмо их ющего знакомого, гробовых дел мастера:

Милый Погостов! ты знаешь, что дела моего тестя пришли в страшный упадок. Он залез в долги по горло. Завтра или послезавтра явятся описывать его имущество. На вчерашнем семейном совете мы решили припрятать все ценное и дорогое. Так как все имущество моего тестя заключается в гробах... то мы решили припрятать самые дорогие гробы.

Для такого рода сюжетов хроника давала Чехову богатейший материал. Сообщения, в которых фигурировали гробы, покойники, гробовщики, кладбища и т. п., ценились читателями хроники как одно из самых изысканных эстетических блюд, и хроникеры не останавливались ни перед чем для отыскания такого материала. Нередко можно было встретить, например, заметку с такими многообещающими заглавиями, как «Кража гроба с покойником», «Исчезновение мертвеца» и т. п., или рассказы о том, как некий купец еще при жизни заказал себе гроб («Петербургская га-

зета», 1 апр. 1883 г.), или о том, как один благотворитель, желая облагодетельствовать своих сограждан, в ожидании холеры заказал полтора десятка гробов, но холера не пришла, и гробы остались без употребления («Петербургская газета», 17 ноября 1885 г.) и т. д.

Во всем этом материале, несомненно известном Чехову, и в особенности в той заметке, которая легла в основу рассказа «Страшная ночь», уже содержится предположение творческой тенденции писателя к развенчанию всякой необычности, и, конечно, это-то именно и должно было остановить внимание Чехова а данной заметке: гробы, фигурирующие в неожиданной для них роли, самое сочетание — гробы и аукцион — наталкивали его на определенный сюжет, где некоторый таинственный мотив (появление гробов) в сочетании с самым будничным и обыденным (распродажа имущества за долги) сам сводится на степень будничности и обыденности. Переработка хроникерской заметки в рассказ идет по этой линии максимального усугубления несоответствия между завязкой и развязкой рассказа. Мотив гробов, имеющийся в заметке, Чехов усложняет введением целого ряда новых моментов, усиливающих таинственность ситуации: спиритический сеанс, предсказание Спинозы, возвращение рождественской ночью, наконец, самые фамилии героев (Черепов, Трупов, Кладбищенский и т. д.), наконец, обнаружение гробов, — и все это вдруг срысывается неожиданной развязкой, сводящей, как и в рассмотренных уже случаях, все событие к узкому кругу чисто житейских отношений. На этом и строится комический эффект.

Весь рассказ построен на сочетании таинственного и житейского. В результате этого сочетания раскрывается несообразность, бессмыслица, которую Чехов воспринимает не как случайное, а как *типичное*, как основу бытия той социальной среды, которую он изображает. Это станет очевидным, если соотнести данный рассказ к целому ряду других («Тайна», «Ночь на кладбище», «Клевета», «Мыслитель», «Смерть чиновника» и мн. др.). Всюду здесь незначительный факт, ничтожный случай вырастает в сознании запутанного обывателя до грандиозных размеров, заполняет собой все его существование и нередко имеет трагический исход (герой рассказа «Смерть чиновника» умер от того, что чихнул на лысину генерала).

Вопрос о сущности *бессмыслицы* занимает большое место в системе миропонимания Чехова. Для него назначение человека — прежде всего *творить, создавать*, а между тем, в определенных объективных условиях его творческая сила совершенно неизбежно получает ложное направление. Из этого противоречия и рождается бессмыслица. Чехов заносит в записную книжку такого рода записи:

- Один старик богат, почувствовав приближение смерти, приказал подать тарелку меда и вместе с медом съел свои деньги.
- Молодой человек собрал миллион марок, лег на них и застрелился.
- Х. целый день режет купоны.
- Герой пелый день пьет чай.
- Один капитан учил свою дочь фортификации.
- Узнает из газет о смерти великих людей и по каждому из них носит траур и т. д.

Совершенно очевидно, что и здесь газетная хроника являлась тем источником, из которого Чехов мог полным пригоршнями черпать все новые и новые факты для своих обобщений. Уже те многочисленные ссылки на хронику, которые приводились выше, — о бродящих по городу свиньях, о гробе, заказанном при жизни, и т. п. — открывают страшную бездну чуждостей и бессмыслицы, на которых строилось существование огромной массы людей. Такого рода факты неисчерпаемы, как сама жизнь. «Петербургская газета» от 20 апр. 1882 г. сообщает о том, как два домовладельца, в целях экономии, сооружают себе еще при жизни один общий надгробный памятник; та же газета от 23 марта 1884 г. рассказывает об одном мещанине, которому отказали на почте в выдаче денег, так как они были адресованы «его благородию», а он на такое звание не имел права; в одной из газет рассказывается о некоем обывателе, который в пьяном виде похитил с могилы памятник с надписью: «здесь покоится прах ино-танки Веры Павловны Кох», и, не зная, что с ним делать, прошел про-авать его на базар и т. д. и т. п.

Творчество Чехова — это огромное полотно, развертывающее те же по существу явления безграничного торжества тупости и бессмыслицы. Но эти явления, получая через художественный образ новое качество, начинают осознаваться нами уже не как единичные факты, а как целостная система отношений, как нечто закономерное и логичное в условиях той социальной действительности, которая их порождает. В этом — социальная острота и значение чеховской сатиры.

IV

Хроника дает материал для уяснения и другой стороны в творческом процессе Чехова — создания им образа.

Среди многочисленных хроникерских заметок, регистрирующих случаи самоуправства, превышения власти, безответственности должностных лиц и т. п. явления, которыми так богата была российская действительность того времени, выделяется заметка такого содержания:

Изюм. Из Изюменского уезда газете «Южный край» пишут: «Урядник Гавриловской волости простирает свое усердие к службе до того, что не позволяет сельской молодежи и повеселиться в длинные зимние праздничные вечера. Вооруженный нагайкой, этот блюститель общественного спокойствия расхаживает в сопровождении десятичников каждый вечер по селу и, застав молодежь в домах, в которых заметил светящийся огонек, на «вечерницах» или «досвитах», «парубков» разгоняет нагайкой, а «дивчат» отправляет под конвоем десятичников на ночовку в кутузку при волостном правлении. Затем, являясь на следующее утро в волостное правление для освобождения узниц, он заставляет их (вероятно, в благодарность за даровой ночлег в кутузке) поцеловать полуидиота старика-сторожа волостного правления, который ради сего торжественного случая, по приказанию урядника и старшины, тщательно умывался («Петербургская газета» 9 февр. 1883 г.).

Совершенно очевидно, что эта заметка дала Чехову, в основном, контуры образа унтера Пришибеева (1885), занимающего в галерее образов, созданных Чеховым, одно из центральных мест.

Уже в ранних произведениях, в «Мелочишках», тогда, когда сам Чехов еще был далек от полного понимания значения этого образа, — зерна

будущего «унтера» прощупываются без всякого труда хотя бы в таких заметках, как «Случай помешательства» (1883 г.).

СЛУЧАЙ ПЕРВЫЙ

Я знаю одного отставного капитана, бывшего станового. Этот человек помешан на тему: «сборища воспрещены». И только потому, что сборища воспрещены, он вырубил свой лес, не обедает с семьей, не пускает на свою землю крестьянское стадо и т. п. Когда его пригласили однажды на выборы, он воскликнул: — А вы разве не знаете, что сборища воспрещены?

СЛУЧАЙ ВТОРОЙ

Один отставной урядник, изгнанный, кажется, за правду или за лихое имство (не помню, за что именно), помешан на тему: «А посиди-ка, братец!» Он сажает в сундук кошек, собак, кур и держит их взаперти определенный срок. В бутылках сидят у него тараканы, клопы, пауки. А когда у него бывают деньги, он ходит по селу и нанимает желающих сесть под арест и т. д.

В набросках под названием «Обер верхи» (1883) тот же образ намечается в такой вариации:

...один из сотрудников «Киевлянина», некий Т., начитавшись московских газет, в припадке сомнения сделал у самого себя обыск. Не найдя ничего предосудительного, он все-таки сводил себя в квартал.

И опять газетная хроника помогает нам уяснить, какой щедрый материал представляла окружающая писателя действительность для зарисовки подобных шаржей. Так, «Курьер Варшавский» рассказывает о странном мании одного человека, который вообразил себя приговоренным к тюремному заключению:

...он распорядился устроить в одной из комнат решетку в окне и самую комнату меблировал совершенно на тюремный лад. Слуга его должен исполнять обязанности тюремного сторожа, приносит ему пищу, газеты и книги и запирает комнату на ключ.

Из г. Кельцы (1883 г.) сообщается об арестанте, который не пожелал выйти из тюрьмы и которого пришлось освобождать насильно.

Из с. Прилуки (1884 г.) пишут о двух крестьянах, которые, желая избавиться от пьянства, высекли поочередно друг друга в волости, после чего стали вести примерный образ жизни, и т. д.

Итак, образ унтера в основных его чертах зарождается у Чехова очень рано.

Жандарм по инстинкту — таким мыслился Чехову этот образ, в котором он художественно закрепляет свое отношение к российской действительности того времени. В бесконечном многообразии форм полицейского произвола царской России Чехова поражала как художника одна категория людей, встречающаяся на различных ступенях социальной лестницы. Это — категория «держимордствующих» по призванию, из любви к делу. В своем унтере он и дает высшее художественное выражение этому типу. Приведенная заметка из Изюма не могла не привлечь к себе внимания Чехова тем, что фиксировала очень яркий частный случай интересовавшего его явления — *чрезмерное усердие к службе урядника Гаврилюшки* волости. Она и могла явиться толчком к окончательной кристаллизации образа унтера.

Чехов находил, таким образом, в заметке то, что уже оформлялось

в его сознании и что через эту одну деталь, отмеченную хроникой, получало вдруг чувственную осязаемость; эта деталь — *разгон веселящейся молодежи из домов со светящимися окнами*, которую Чехов и использует в рассказе:

Намеднись по избам ходил, приказывал, чтобы песней не пели и чтоб огней не жгли. Закона, говорит, такого нет, чтобы песни петь (показание старосты на суде).

Они вот жалуются вам, что я песни петь запрещаю... Да что хорошего в песнях-то? Вместо того чтобы делом каким заниматься, они песни... А еще тоже моду взяли вечера с огнем сидеть. Нужно спать ложиться, а у них разговоры да смехи (показание унтера).

Этот момент является ярким завершающим мазком всего образа: в нем сгущено и доведено до крайности то, что художник хотел показать в своем образе, — полицейское начало, безгранично довлеющее над окружающим. Частный случай, зарегистрированный хроникой, превращается у Чехова в огромное социальное явление.

Образ унтера кристаллизовался у Чехова не сразу. Две редакции рассказа (1885—1900) говорят о том, какая значительная работа творческой мысли потребовалась писателю, чтобы найти верный тон своему образу.

Показательна уже эволюция самого названия рассказа. Первоначально рассказ носил название «Сверхштатный блюститель» (не напечатан). Напечатан же он был под названием «Кляузник» («Петербургская газета», 5 окт. 1885 г.) и, наконец, при внесении рассказа в собрание сочинений в 1900 г. Чехов дает ему последнее название — «Унтер Пришибеев». Первые два названия не удовлетворяют его как недостаточно обобщающие. Название «Унтер Пришибеев» получает свой обобщающий смысл через фамилию Пришибеев от слова *пришибать*.

Стремление к обобщенной подаче образа определило и отбор деталей из хроники. Чехов отбрасывает заключительный эпизод хроники с юридическим сторожем волостного правления как слишком частный, не типичный. Но зато использует другую деталь — *светящиеся окна* — которая, в соответствии с общим идейным замыслом рассказа, получает глубокий обобщающий смысл: *унтер, боящийся света*.

Как использует Чехов эту деталь?

В то время как в хронике отмечено только: «и застав молодежь в домах, в которых заметил светящийся огонек» и т. д. — Чехов значительно сильнее акцентирует эту «светобоязнь» унтера, возвращаясь к ней несколько раз (жалобы старосты, показания унтера), и, по свойственной ему скупости на изобразительные средства, дает ей завершение всего одним штрихом — очень кратким диалогом:

Унтер. У меня записано-с!

Судья. Что у вас записано?

Унтер. Кто с огнем сидит.

▼

К образу «добровольного жандарма» Чехов возвращается до самого последнего времени. В записную книжку (1891—1904) он заносит все новые варианты, попрежнему фиксируя то же основное зерно образа — *одержимость духом блюстительства*.

— У Н страсть к шпионству с детства до глубокой старости.

— Таможенный чиновник из любви к делу обыскивает пассажиров, ища у них политически неблагонадежных документов, и приводит в негодование даже жандармов.

— В людской Роман, развратный в сущности мужик, считает долгом смотреть за нравственностью других.

— Благочинный ставит священникам и всему причту отметки за поведение, а после всех даже их женам и детям.

Но создать после «унтера» образ, равноценный ему по художественной значимости, Чехову уже не удастся, так как в процессе дальнейшего роста художника перед ним вставали иные проблемы, иные художественные задачи, требовавшие новых образов, и данный образ сначала все более отодвигается на задний план (сторож Никита в «Палате № 6» 1892 г.), а затем вовсе перестает звучать.

Образ «добровольного жандарма», образ человека, работающая приниженность которого достигает такой степени, что он сам по своей воле становится опорой унижительного полицейского режима, не исчерпывал для художника познаваемого им явления во всем его многообразии. В системе царского произвола, наряду с активной силой, действовавшей в ней, Чехов привлекали другие образы, образы тех, кто нес на себе гнет этой системы. Чехов был далек от ясного понимания классовых противоречий. В его творчестве доминирует гуманистический мотив жалости к страдающим людям.

Газетная хроника и здесь являлась для него весьма ценным документом, беспристрастным свидетельством о жизни широких масс населения, забытых и задавленных невежеством, бесправием и произволом.

Среди этого рода сообщений особо многочисленную группу составляют сообщения об эксплуатации детей. Можно с уверенностью сказать, что ряд детских образов Чехова («Ванька», «Спать хочется») возник под непосредственным влиянием таких заметок об истязаемых в сапожных, столярных и других мастерских мальчиков, которыми «колодкой с гвоздями разбивали голову» («Петербургская газета», 18 марта 1885 г.), которых «били все, кому только не лень, били и за дело, но больше зря... по привычке, потому что заступиться за них было некому» («Петербургская газета», 28 дек. 1884 г.) Нередки рассказы о прагматическом исходе такого обращения с детьми (самоубийства, преступления). Хроника вскрывает полную беззащитность детей, отданных во власть своих мучителей, на стороне которых и правосудие. Эта беззащитность жертв произвола, их полная беспомощность нашла художественное выражение в образе Ваньки Жукова, в его письме с адресом: «На деревню дедушке Константину Макарычу».

Здесь далеко не исчерпан весь материал. Фактов использования Чеховым газетной хроники так много,¹ что рассмотреть их все не представляется возможным, да это вряд ли и нужно.

¹ Так, за 4 года хроника дает более 10 заметок, сообщавших о бегстве двух мальчиков в Америку или на Кавказ, использованных, повидимому, Чеховым в рассказе «Мальчики»; две заметки («Петербургская газета», 16 февр. 1882 г. и «Петербургские ведомости» 28 марта 1885 г.) легли в основу рассказа «Происшествие». В заметке от 14 окт. 1885 г. мы видим основную ситуацию рассказа «Длинный язык» и др.

Уже и того материала, который прошел здесь, достаточно, как нам кажется, для того, чтобы раскрыть еще мало исследованные стороны в творчестве большого художника.

Чехов упорно и неустанно изучал живую действительность кругом себя, вбирая в себя каждую черту, каждую мелочь прежде всего из той среды, в которой вращался сам. Но эти единичные факты и явления всю свою значимость приобретали для него лишь соотнесенные к массовым наблюдениям многотысячной армии безыменных хроникеров.

Эти новые данные о работе одного из крупнейших мастеров слова проливают свет на сложные и всегда трудно исследуемые процессы движения творческой мысли художника и тем самым помогают глубже проникнуть в природу его творчества и полнее увидеть закономерность его развития.